

Н. Г. Гарин-Михайловский

Инженеры

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г20

Г20 **Гарин-Михайловский Н.Г.**
Инженеры / Н. Г. Гарин-Михайловский – М.: Книга по Требованию, 2012. –
200 с.

ISBN 978-5-458-04217-8

Н.Г. Гарин-Михайловский - известный русский писатель-реалист и демократ конца XIX - начала XX века.

"Инженеры" - четвертая неоконченная повесть его автобиографической тетралогии.

ISBN 978-5-458-04217-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский
Инженеры

Из семейной хроники

I

– Довольно!

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташев, стоял, и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

– Довольно!

Там в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташев кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно «довольно», стараясь как можно сознательнее пережить это мгновение. Итак, довольно, он – инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться, – достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье, и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился, теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, несостоящим...

И потом, положив мел и отойдя в глубь залы, Карташев продолжал ощущать все ту же охватившую его пустоту, в которой как будто вдруг потерял себя.

Ему казалось, что нет больше ни его, ни всех этих людей, здесь стоявших, волновавшихся. Что все они только тени, быстро, быстро проносящиеся в пространстве времени.

И что все эти радости, горе? Что вечно среди этого изменяющегося, равнодушного, неудержимо несущегося вперед?

Двадцать пять лет его жизни казались ему теперь только одним промчавшимся мгновением, в котором так ярко помнил он все, всякую мелочь. И в то же время так скучно, так ничтожно, так прозаично все это. И все-таки хорош этот день, этот ясный радостный май, в открытых окнах эти ароматные вздохи ветерка, тянущего с собой привет полей, лесов. Он поедет скоро туда, опять увидит свою Новороссию, ее степи, неподвижные, безмолвные, с угрюмыми скирдами сена на горизонте, ясную тихую речку в камышах с далекою далью сел, церковей, белых хаток, высоких и стройных тополей. И спит это все там теперь в ярком сиянье веселого дня, молодой весны, радостных надежд.

Правда, там нет лесов. Здесь под Петербургом он только узнал эти леса, полянки среди них, здесь под Петербургом только узнал он и аромат этих распускающихся лесов и мощное пробуждение их сразу от зимней спячки. Осень на юге, весна на севере. А эти ночи светлые, белые, – дни во сне, молчаливые, светлые, ароматные. Этот аромат распускающихся душистых тополей и сейчас несется с островов. Ах, эти острова, их сочная зелень, близость их друг к другу, голубые полосы окружающей их со всех сторон воды. Карташев вздохнул всей грудью. Везде прекрасна природа, и жизнь ее и красивее и законнее людской жизни. Радость ее – радость всех, а радость одного человека – всегда горе для других.

Вот он, Карташев, радуется, что кончил курс, что инженер он теперь. А основа этой радости? Кончил за счет тысяч других обездоленных. Кончил и обес-

печен и будет сыт все за тот же счет других голодных.

А можно как-нибудь изменить все это?

Карташев поднял голову и следил в окно за птичкой, нырявшей в радостной синеве безмятежного неба.

Когда-то в гимназии он думал с другими, что можно. Теперь, когда он узнал жизнь... Теперь он думал, что нельзя? Теперь он ничего не думает. Ему показалось вдруг, что он совсем еще маленький в своем саду, Тёма – которого мама ведет за руку по дорожкам душистого сада в такой же ясный день, а он идет ленивый, беспечный и не хочет даже и думать, куда ведет его мама, зачем ведет: умыть ли, ногти остричь или почитать с ним что-нибудь.

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман, – толстый, веселый, добродушный.

– Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташеву и продолжал:

– Ну-с? Я вчера тоже так. Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся, и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился и, весело раздувая ноздри, сказал шепотом:

– Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

– Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

– Хочешь, поедем на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди пообедай теперь, потом выпишься и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

– Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташева и сказал: «А теперь я пошел».

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташев двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего и из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: «Самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов».

И сейчас же подумал:

«А может быть, что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?»

Он тревожно стал рыться в голове, что худшего могло бы с ним случиться? Умрет жена, дети, когда он женится? Но он никогда не женится. Что еще? Он приобретет состояние и потом потеряет его? Ему смешно стало. У него-то состояние? Никогда у него ничего, кроме долгов, не было и, конечно, никогда ничего другого и не будет. И на что это состояние? Иметь разве рублей тысячу... Он увидел швейцара Онуфриева, красное лицо которого теперь расплылось от радости и сверкало, как красный медный шар.

– С окончанием! Потрудились, и наградил господь.

Это он-то, Карташев, потрудились? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:

– Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.

Он только нерешительно сказал:

– Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.

– В последний раз, – ласково-просительно ответил Карташев.

Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:

– Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич, – продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки, – вы уже не обидьте.

– Ну, что, бог с вами, Онуфриев, – усмехнулся Карташев.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:

– Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич, – ведь после тех троек я на образа крестился, что больше вам не дам.

Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:

– Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня уьют.

Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубахе, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:

– Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.

Месть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.

Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.

Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.

На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.

За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим личиком, смешно, точно в миньятюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нащупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блюдечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала его варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив –

робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и, наверно, если бы Карташев сказал ей, как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.

После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: «уйди», наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:

– Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына... Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добрее вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете, – по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям...

Карташев энергично замотал головой.

– Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.

– И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать...

– От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам...

– Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия, – хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?

Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

– Ваша бы воля, – перебил его Онуфриев, усмехнувшись. – Все в руках божиих: только одно, что Лиза моя тоже не с совсем пустыми руками в люди пойдет. Вот я и хотел об этом с вами посоветоваться. Я так вам, как на духу, откроюсь: скопил я тридцать семь тысяч, вот вы мне и посоветуйте теперь – в каких бумагах мне их лучше держать? – Онуфриев уставился в Карташева совсем близко своими рачьиими глазами. Карташеву казалось, что он, как в лупу, смотрит в красную расширенную кожу его лица, где каждая пора рельефно обрисовывалась впадиной и где так много было каких-то белых пупырышков.

«Как в швейцарском сыре», – подумал Карташев, и ему показалось, что от лица Онуфриева и пахнет, как от швейцарского сыра. Он быстро подавил в себе неприятное ощущение и ласково-смущенно ответил:

– Видите, Онуфриев, я совершенно ничего не понимаю в бумагах.

– А как же... Ведь у маменьки вашей, наверно же, деньги в бумагах?

Карташев отлично знал, что у матери его никаких бумаг нет, что и дом и деревня заложены, но ответил:

– Конечно, вероятно, в бумагах, но она мне об этом никогда ничего не гово-

рила. Дом есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

– Ах, пожалуйста...

После этого Карташев стал прощаться, обещал заходить, несколько раз Онуфриев напоминал ему.

– Непременно, непременно, – отвечал озабоченно Карташев.

Как-то Онуфриев спросил:

– А что, от маменьки нет еще ответа?

– Вероятно, скоро будет.

– Вот с этим ответом, может, зашли бы... Обрадовали бы старика, и дочка все про вас спрашивает...

– Ваша дочка такая милая...

– Простая девушка.

– Слушай, Володька, – говорил Карташев, идя с Шуманом после этого разговора из института, – помоги, ради бога, может быть, ты знаешь, какие бумаги считаются самыми доходными?

– Тебе на что? Покупать хочешь?

Карташев рассказал ему, в чем дело.

– Тридцать семь тысяч?! Однако твоих сколько там?

– Что моих? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

– Хорошенький процент за триста и за неполный год. Очевидно, таких дураков не ты один.

– Наверно, один. Он сам говорил, что за тридцать лет другого такого он не знал.

– Откуда же у него деньги?

Карташев пожал плечами.

– Кого-нибудь убил, обокрал? – спросил Шуман, – впрочем, я отчасти догадываюсь, я кое-что слышал, он дает свои деньги инженерам-подрядчикам и участвует в прибылях.

– Ну, а насчет бумаг?

– Все это глупости: он лучше тебя знает толк в бумагах. Он просто хочет женить свою дочку на тебе и таким путем показывает тебе свое состояние.

– Его дочь очень симпатичная...

– И ты, конечно, уже не прочь жениться?

– Я не женюсь, потому что решил никогда не жениться...

– И самое лучшее, что ты мог бы сделать и чего, конечно, не сделаешь. Десять раз женишься...

– И по закону можно только три всего...

– Ну, закон... – махнул рукой Шуман.

– Все-таки что ж мне ему сказать насчет бумаг?

– Насчет бумаг? Много хороших есть бумаг: Брянские. Ты вот что ему посоветуй – Харьковского строительного общества. Это новое дело и обещает очень много.

– Отлично!

На другой день Карташев так и сообщил Онуфриеву. Тем и кончился разговор у них о деньгах, и так больше и не был Карташев в гостях у Онуфриева, если не считать его визит тогда только за деньгами для троюк.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташеву, когда он шел по улице в свою кухмистерскую.

Время было еще раннее, и в кухмистерской, кроме одного молодого студента, никого не было. Студент усердно читал какую-то книгу и ел, или, вернее, пожирал ломти серого ароматного хлеба в ожидании, пока подадут обед.

Все так же стояли белые столы, и каждый стол принадлежал другой девушке. В дверях появилась Ефросинья. То же светлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шее.

– Сегодня рано пришли.

Карташев сегодня как-то ближе взгляделся в Ефросинью и с грустью заметил следы времени на ее лице: как-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородок, сморщилась и сбежалась местами кожа, и не белизну шеи, а желтизну ее подчеркнувала уже бархатка.

Пять лет назад это была свежая, еще красивая женщина. И резче подчеркивалась эта перемена, потому что в раскрытые окна смотрел ясный майский день, радостный, молодой, ленивый.

– Как поживает ваша дочка?

Точно кто дернул за невидимый шнурок, и лицо Ефросиньи сбежалось так, что слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новым блюдом. Умерла, что-нибудь случилось? Карташев не решился больше спрашивать.

Когда он кончил, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужие. Теперь уже совсем чужие. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

– Прощайте.

Да, все это чужое уже.

II

Карташев пришел домой и лег спать.

– Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташев с удовольствием вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная, кочевая изо дня в день жизнь. Только бы сегодня как-нибудь.

И сколько ни пробовал Карташев выбиться из этого сегодня, как-нибудь наладиться, так ничего никогда не выходило из этого. Жизнь точно в гостинице, куда приехал на несколько дней. И так шесть лет день за днем. Что сделано?

Ах, решительно ничего. Никаких знаний не приобретено. Каким-то только чудом сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось ли еще? Через десять, двадцать лет все это еще может сказаться. В сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Разве можно, например, при таких условиях...

Если серьезно вдуматься...